

Далекие годы

Автор:

Константин Паустовский

Далекие годы

Константин Георгиевич Паустовский

Повесть о жизни #1

...Нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. К ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. Автобиографическая «Повесть о жизни» – это размышления Константина Паустовского, вошедшие в шесть книг. Вниманию читателя предлагается первая книга «Далекие годы».

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Далекие годы

Несколько отрывочных мыслей

Вместо предисловия

Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. Вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений[1 - Предисловие было написано К.Г. Паустовским к изданию: Паустовский К.Г. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1967–1970.].

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограничена. Он связан многими трудностями, в первую очередь – неловкость давать оценку собственным книгам.

Кроме того, ждать от автора объяснения собственных вещей – дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.

Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни», которая включена в это собрание. Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.

Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Отец мой происходит из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед – бывший николаевский солдат – и бабка-турчанка.

Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве.

Моя мать – дочь служащего на сахарном заводе – была женщиной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Учился я в 1-й киевской классической гимназии.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение. Перебивался я довольно тяжелым трудом – так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом – санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери – она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман – «Романтики».

Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.

Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.

В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал свидетелем многих событий 1917–1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.

Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова перебралась на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там

я впервые попал в среду молодых писателей – Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.

Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом – в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в Северную Персию.

В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.

Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).

Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещёре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе – в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.

Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбацких городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри – огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой

средиземноморской сосной – пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвиллии, – на Капри, погруженном в теплую и прозрачную воду Средиземного моря.

Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и – в каждом отдельном случае – по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.

Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.

В юности я пережил увлечение экзотикой.

Желание необыкновенного преследовало меня с детства.

В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.

Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.

Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая[2 - Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888) – русский этнограф, изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.] я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эолову арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.

Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.

Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и – тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.

С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадались ее застрявшие невзначай золоченые нити.

Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия – то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романтикой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания.

Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики и никогда от нее не уйду – от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее покоя.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть живым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.

Разумеется, экзотику можно найти в «Романтиках», «Блистающих облаках» и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются здесь в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.

Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка».

В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только что открыли. Строитель планетария архитектор Синявский повел меня на первый показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.

И вот – почти все написанное мною до этого вечера представилось мне таким же искусственным, как небо планетария, – бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.

Однако потом на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто – даже самая малость – не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Черным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.

Но сравнительно недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.

Наш теплоход отошел из Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенистый след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатыми красными лапами.

Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.

Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.

Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница гор, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых рощ, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей показалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.

Десятки пестрых, как попугаи, фелюг – карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми обводами по бортам – шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.

Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень.

Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.

Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнувшем небе слабо сиял полумесяц – такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.

Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.

Я наконец поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли – Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.

Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.

С тех пор сознание этой реальности не покидало меня на всем пути – в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где на простой и суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на плавучих бакенах, – всюду и везде...

Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность.

Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, – нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.

Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека.

Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.

Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растёт медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и в конце концов равнодушный человек остаётся наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.

Истинное счастье – это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике ещё совсем недавно, романтика опять заняла своё законное место в жизни нашей литературы.

В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.

Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного.

Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некоей необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.

Но есть ли на свете такая профессия? Чем больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в её стремительном развитии и разнообразии.

Одно время я всерьёз думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.

Однако тогда я еще не знал, что писательство – это и труд, тяжкий и расточительный, что даже одна-единственная крупца правды, утаенная писателем от людей, – преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.

Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.

Решение пришло. Будущее стало ясным. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не возникло искушение изменить ему.

Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы скитаний. Сначала был юг. С ним связаны «Романтики», «Блестающие облака», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и ряд рассказов, в том числе «Этикетки для колониальных товаров», «Потерянный день», «Парусный мастер», «Синева» и некоторые другие.

Первая моя поездка на север – в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров – просто ошеломила меня.

Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними. Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых...», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:

...Руку

Одна заря закинула к другой.

И, сестры двух небес, прядут они —

То розовый, то голубой туман,

И в море утопающая туча

В предсмертном гневном мечет из очей

То красные, то синие огни.

Можно исписать много страниц этими неясными приметам, создающими явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.

Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.

Север вызвал к жизни такие книги, как «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», «Северная повесть», и такие рассказы, как «Колотый сахар» и «Беглые встречи».

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех.

Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре – и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем.

Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.

С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.

Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску – на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.

С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.

Я снова здесь в семье родной,

Мой край, задумчивый и нежный...

Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещёрская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

В Мещёрском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»).

Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.

Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.

Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.

Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни – в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.

Каждая моя книга – это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.

Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.

Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров – те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.

Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По[3 - По Эдгар Аллан (1809–1849) – американский поэт, писатель-романтик, критик.], Врубелю[4 - Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – русский живописец.], Диккенсу, Грину и Малышкину.

Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных – о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях – своих закадычных друзьях.

В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от неизвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.

Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.

Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.

Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества – вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.

К. ПАУСТОВСКИЙ

Несколько слов

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий»,

«Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу, творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К. ПАУСТОВСКИЙ

Далекие годы

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?[5 - «...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» – Из стихотворения С. Есенина без названия («Не жалею, не зову, не плачу...»)].

Сергей Есенин

Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина – гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула – извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

– Ну что ж, позovem Брегмана, отпетого старика, – решил наконец Феоктистов. – Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы»[6 - «Нива» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-

популярный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870–1918 гг.] в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щеки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом. – Ой, беда, пане Феоктистов! У меня фэйтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и фэйтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, – я не побожусь, что пять или, положим, десять.

– Спасибо, Брегман, – сказал Феоктистов. – Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

– Ну, уж если я такой храбрый, – пропищал, усмехаясь, Брегман, – так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид»[7 - «Русский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813–1917 гг.]. Там я, по крайности, почитаю про кантонистов[8 - Кантонисты. – В России в 1805–1865 гг. так назывались сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.] и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетушка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалью. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

– Эти сады очень любил Мицкевич, – сказал я Ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

– Гребля! – сказал он упавшим голосом. – Теперь молитесь Богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, – ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

– Езус-Мария! – сказал он тихим голосом. – Как же мы переедем?

– Э-э! – ответил Брегман. – Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятнулись и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней – двое гнедых и серый – выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я спросил, как отец.

– Еще жив, – ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. – Ждет. А где мама – Мария Григорьевна?

– Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

– Прибывает, – сказал он. – Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, заплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани. Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

- Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

- Нет, - тихо возразил я. - Этого не будет.

- Маму увидишь, - прошептал отец. - Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был, по существу, совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом Псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева[9 - Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882) - русский генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.] так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» - враль и болтун.

Он читал Псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фонарем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было

разобрать.

– Должно быть, мама, – сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

– Пойдем, – сказал он, помолчав. – Холодно на берегу. Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном – маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

- Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!

«Вечный покой и вечный свет даруй им, Господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана – каморы – сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту – «универсал», медную печать с гербом, георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного[10 - Сагайдачный Петр Кононович (?—1622) – гетман украинских казаков, участник и руководитель походов против Крымского ханства и Турции, сторонник сближения с Россией.], нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и считались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь[11 - Запорожская Сечь — организация украинских казаков в XVI–XVIII вв. за Днепровскими порогами. Ликвидирована в 1775 г. после подавления крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева.] при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об Уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох – будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом – ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях – думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой – отсиживался там от гневного характера моей бабки-турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену – красавицу турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя – Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казацкие же песни всегда вызвали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи – кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали козаченьки

В поход с полуночи.

Заплакала Марусенька

Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, – говорил он, – слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах – ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины – глечики – с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макитрах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла – его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

– Случилось то в селе Замошье, под городом Васильковом, – рассказывал дед. – Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи – ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит – топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос – женский, молодой – зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий, и блискаются на нем капли – падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне – молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, – говорит женщина, – подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, – говорит ей Остап. – Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, – отвечает женщина. – Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! – говорит ей тихо Остап. – Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» – спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами».

«Хорошо! – так же тихо отвечает женщина. – Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался – жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо, – закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, – говорит женщина. – Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» – спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, – говорит женщина, – все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, – отвечает Остап. – Я простой человек, коваль. Мне о вас думать – и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

– Так они и не виделись больше?

– Нет, – отвечал дед. – Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, – мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось – на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, но Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо – хотел остановить коляску – и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, – как говаривал дед, – другая пропорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках.

Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший беспорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабушкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка – родного города бабушки – называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок – это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабушки.

Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабушка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, усталую разноцветными половиками. В хате пахло топленным молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны – отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

– Ну конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дозя, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел процессию: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах – брылях. Медали бренчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дозя взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дозя и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу:

– Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

– Спасибо! – говорил отец.

– Да-а! – отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. – Оно так, конечно...

– Да-а! – повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

– Вот оно, значит, так слагается, – произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Предисловие было написано К.Г. Паустовским к изданию: Паустовский К.Г. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1967–1970.

2

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846–1888) – русский этнограф, изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.

3

По Эдгар Аллан (1809–1849) – американский поэт, писатель-романтик, критик.

4

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – русский живописец.

5

«...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» – Из стихотворения С. Есенина без названия («Не жалею, не зову, не плачу...»).

6

«Нива» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870–1918 гг.

7

«Русский инвалид» — военная газета, издававшаяся в Петербурге в 1813–1917 гг.

8

Кантонисты. – В России в 1805–1865 гг. так назывались сыновья солдат, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

9

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – русский генерал от инфантерии. Участвовал в завоевании Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

10

Сагайдачный Петр Кононович (?—1622) – гетман украинских казаков, участник и руководитель походов против Крымского ханства и Турции, сторонник сближения с Россией.

11

Запорожская Сечь — организация украинских казаков в XVI–XVIII вв. за Днепровскими порогами. Ликвидирована в 1775 г. после подавления крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/konstantin-paustovskiy/dalekie-gody>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)